

Ильясов Қ.Ө.

**ФАБРИКА РЕПРЕССИЙ  
И ПРАВДА АЛЖИРА**

**ҚУҒЫН-СҮРГІН ФАБРИКАСЫ  
ЖӘНЕ АЛЖИР ШЫНДЫҒЫ  
(сборник-жинақ)**

Щучье  
2008

**Ильясов Қ.Ә.**

**Фабрика репрессий и  
Правда АЛЖИРА**

**Қуғын-сүргін  
фабрикасы және  
АЛЖИР шындығы  
(сборник-жинақ)**

**Щучье қаласы - 2008**

Посвящается  
к 100-летию рождения репрес-  
сированого отца **Ильясову**  
**Аубакиру Байжановичу** сын  
Ильясов К.А.

Бұл жинаққа қазақ Халқының қуғын-сүргін кезеңіндегі мұрағатта сақталып, газет беттерінде жарық көрген мақалалары ұсынылып отыр. Жинақты тер төгіп еңбек етіп жарыққа шығарушы Ильясов Қазақстан Әубәкірұлы.



## *Алғы сөз орнына* **1937-1953**

**Қалың елі болмаса, ерлер жетім.  
Қайран ерлер болмаса, ел-жұрт жетім.**

Тарихымызға сталинизм дәуірінде түскен қара дақтар соңғылықты аты аталып, түсі түстелмегендіктен, тарихи дүние танымымызда орны бос “ақ таңдақтарға” айналғаны белгілі. Ол “ақ таңдақтар” санамыздағы бір үңірейген қуыс боп, сол қуыстан жылдар бойы суық ызғар желдей гулеп сан сауалдар сарнады да тұрды. Айтып жаза бөрсек Нәубет жылындағы қасіретті Орта Азия халықтарының арасында қазақ халқы ерекше татып, не бір нарқасқа тұлғаларымыз бен асыл аяулы аналарымыз қасірет тұтты. Отбасының берекесі кетіп, шаңырағы төңсөлген қаншама ел, бала-шағасы шулап тіршілік атаулының мазасы кетті. Неге бұлай болды деген сауал әлі де болса көкірегі ояу адамзатқа оңай соқпайтыны белгілі. Бүгінгі жинаққа түсіп отырған тарихи деректер қазғым деп жан ашыған тұлғаларға өз мән-мағынасын сабақ етіп, көп нәрсенің бағыт бағдарын үйретер деген ойдамын.

**Ильясов Қазақстан Әубәкірұлы**

Гульбахрам Сейфуллина  
Литературная запись Ж. Бектурова.  
Перевод Ю. Ващенко.

## Последняя осень Сакена

Правдивость Сакена пробуждала сердце и разум, окрыляла. Если он говорил о чувстве – это было подлинное чувство, если говорил о правде – это была правда, выстраданная душою. Путь, пройденный этим человеком, необычен. В нем были и взлеты, и падения. Путь Сакена Сейфуллина – это путь подлинного пламенного поэта.

М. Ауэзов.

Я всегда считала Сакена Сейфуллина неотъемлемой частицей казахского народа. Этот человек душой и телом был предан своему народу, своей стране.

Г. Серебрякова.

...Уже после реабилитации Сакена Сейфуллина мы часто беседовали с его женой Гульбахрам, встречаясь в ее небольшой двухкомнатной квартире по улице Космонавтов в Алма-Ате. Особо частыми наши беседы стали в дни празднования семидесятилетия писателя. Затем, уже в 1967 году, особую остроту нашим разговорам придавал тот факт, что Сабит Муканов написал пьесу – “Сакен Сейфуллин” – и она была поставлена в театрах Караганды и Целинограда, на русском и казахском языках. Собственно, запись этих бесед и составляет содержание этих невеселых записок о последних днях Сакена Сейфуллина.

Ж. Бектуров, Ю. Ващенко.

“Во второй половине 1937 года Сакен вообще из дома надолго не отлучался. Лишь несколько дней он прожил в юрте, которую просил поставить для себя в поселке Байсерке близ Алма-Аты. Чаще всего он был один, задумчивый и печальный. Хотя рука его иногда и тянулась к ручке, чтобы что-нибудь написать, но из этого ничего не выходило. Лист бумаги – за ненадобностью – отодвигался. Состояние его было крайне тяжелым. Бывало, просмотрит газету и тут же, расстроенный, отбросит ее





прочь. Часто, опираясь на трость, долго и неотрывно глядел в окно. К пище почти не притрагивался. Телефон был ему без надобности. Люди стали наведываться к нам все реже и реже. Изредка навещал его Сабит Муканов. Тихие беседы вели они в гостиной. Многие близкие друзья и товарищи Сейфуллина обрели вдруг клеймо "врагов народа". Среди его оклеветанных товарищей можно назвать таких, как Нагимет Нурмаков, Абдулла Асылбеков, Жанайдар Садвакасов, Абилкайир Досов, Хамза Жусупбеков, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин. Сообщалось, что всех их разоблачили и в чем-то заклеямили. Сакен только печально качал головой и горестно вздыхал. Казалось, он не находил себе места. Нежно обнимал своего сыночка Аяна, который только-только научился лепетать, смешно, по-своему, произносить некоторые слова, садил его себе на шею, пытался играть с ним. Но даже это душевной муки не снимало.

В те дни в одной из газет появилась статья, в которой говорилось, что квартиры Сейфуллина, Муканова, Джансугурова, Майлина, Ауэзова, Тажибаева превратились в притоны распространения лжи и клеветы против Советской власти. Сакена обвиняли в троцкизме, национализме и предательстве. Называли фашистом. Писатель негодовал "Это уже уму непостижимо! — говорил он. — Разве для того мы отстаивали Советскую власть, чтобы слышать подобного рода ложь, такую клевету?" Он метался по комнате, не находя себе места... Однажды он оделся, привел себя в порядок и вышел куда-то, не сказав ни слова. Выспрашивать что-либо у него в таком состоянии было бесполезно. Прошло довольно много времени — Сакен не появлялся. Я взволновалась не на шутку. В то время весь народ был перепуган. Каждый второй внезапно исчезал куда-то. Вечером человек еще дома, а утром его уже и след простыл.. Наконец он явился — подавленный и угрюмый... Но я была уже довольна тем, что вернулся.

Надо сказать, мы вообще тогда так жили: если супруг куда-нибудь уходил и возвращался живым и невредимым, а ночь проходила спокойно, я была счастлива. День казался вечностью. Каждый прожитый день дома считался божьим даром. Сакен в то время казался мне не хозяином в доме, а гостем. С наступлением сумерек, стоило лишь двери скрипнуть, а телефону зазвонить, душа уходила в пятки. Мы прислушивались и вздрагивали от каждого шороха.

Муж, я уже говорила об этом, очень был привязан к ребенку, — продолжала рассказывать Гульбахрам. Она казалась то грустной и непроницаемой, то оттаивала и становилась одухотворенной. — Я родила долгожданного сына поздно. Потому-то мы и были без ума от него. В книге "Наша жизнь" один из героев назван, как известно, Аяном. В 1932 году, когда Мухтар Ауэзов освобожден из тюрьмы и вернулся в родные пенаты, он крепко сдружился с Сакеном. Имя нашему сыну и дал Мухтар...

Но вернемся к тому, что однажды Сакен домой вернулся поздно.



Я его ни о чем не спрашивала. Лишь позже, уже за чашкой чая, он пришел в себя и сам начал:

– Я ходил к товарищу Мирзояну, – сказал он, – показал ему газету. “Вы это читали? Как это понимать?” – спросил я его... Надо сказать, что Левон Исаевич к Сакену относился всегда хорошо. После своего прибытия в Казахстан в начале 1933 года, он сразу окружил нас своей заботой и вниманием. Кроме хорошего, ничего не могу сказать о нем. Неслыханное дело: Мирзоян настоял на том, чтобы именем Сакена были названы Семипалатинский педагогический институт, железнодорожная станция поселка, где он родился и впервые пошел в школу, школы городов Алма-Аты и Акмолинска. Кто из писателей, не достигших и пятидесятилетнего возраста, при жизни удостоивался подобных почестей?!

Коротко разговор Сакена с Мирзояном свелся вот к чему:

– В прошлом году на праздновании 20-ти лет моей работы в литературе, – сказал ему Сакен, – Ильяс Джансугуров заявил, что я “красный сокол казахской литературы”. Калинин своими руками в Кремле прикрепил орден к моей груди. Мухтар Ауэзов вдохновенно писал обо мне, называя “гордым акыном”... И вот теперь меня печатно величают троцкистом и фашистом, возводят на меня ложь и клевету. Как вы это расцениваете, Левон Исаевич? Сами-то вы эту статью читали? – спросил он и положил перед товарищем Мирзояном злосчастную газету. Не говоря ни слова, тот долго глядел ему в лицо. В глазах его были боль и искреннее сострадание.

– Как же? Читал... – выдал он, наконец, из себя после глубокого вздоха. Поднялся, подошел к Сакену, похлопал его по плечу, обнял. Они с ним были почти однолетки, да и партийный стаж у них был одинаков. Называли они друг друга курдасами.

– Дорогой Сакен, ты правильно сделал, что пришел ко мне, – сказал Левон Исаевич, – мне была неприятна мысль о том, что ты мог заподозрить мое участие в этом подлом деле. После публикации статьи в газете я понял, что это сделал кто-то из моего аппарата. Родной мой Сакен, если сказать тебе правду, то не поверишь. Власть переходит в чьи-то другие руки. Газета вышла из-под нашего контроля. С каждым днем увеличивается число лжецов, клеветников, доносчиков.

– Для меня откровение Левона Исаевича было бальзамом на израненную душу, – говорил мне тогда Сакен. – Пусть он меня и не сможет оградить от доноса, но как же я рад его доброму слову...

Как бы то ни было, он воспрял духом. В нем затеплилась надежда на честность и справедливость ответственных лиц, которым поручат рассматривать его дело...

Вероятно, чтобы хоть как-то отвлечь себя, мой супруг принялся вносить некоторые изменения в свою известную книгу “Тернистый путь”, которая была переиздана латинским шрифтом. В тот страшный тридцать седьмой год он не выпускал эту книгу из рук.

Как-то вечером в один из этих тяжелых дней Сакен долго ходил

из угла в угол по комнате, присел, задумался. Затем перевел печальный взгляд на меня, сдвинув при этом брови. Я уже знала по опыту - он что-то собирается сказать. И на самом деле:

– Гульбахрам, завтрашний день может принести любые неожиданности. Ты можешь остаться одна с ребенком на руках. Думаю, из этой квартиры тебя выселят. Ты уже знаешь, как поступают с женами и детьми тех, кто попадает за решетку. Завтра...

Он будто поперхнулся и замолк.

– Сакен, какую ерунду ты мелешь! Не призывай напрасно горе на наши головы. Вот увидишь: тебя никто не тронет, я старалась говорить строго и убедительно, – ты же не на руководящей работе...

Так я пыталась его приободрить, развеять его тоску. Самой же хотелось реветь белугой. Не знаю, где я только брала силы.

– Да чего уж тут... Завтра тебе, может быть, придется одной заботиться о ребенке, о себе самой. Ты знаешь, у нас есть немного денег. Только у кого их сохранить?..

Прежде он никогда в хозяйские дела не вникал

– Мажит для этого дела не подойдет, – продолжал он рассуждать.

– Он хоть и вышел ростом, но изворотливости, смекалки ему явно не хватает. – Немного подумав, он добавил: – Как ты смотришь на то, если мы поручим это дело Жакия? Он лучше для этого подойдет...

То, что он просил моего совета – вызывало удивление. Я такого не припоминала. Речь шла о его родственнике Жакия Рахимбаеве. На него можно было положиться.

– Гульбахрам, – окончательно решил муж, – передай братишке, что я его завтра вечером жду у себя...

Когда на следующий день явился Жакия и муж ему в деталях объяснил, что от него требуется, тот заметно побледнел. Нам показалось, что наш Сакен уже прощается с нами навсегда. Трудно описать овладевшее нами состояние,

– Сакен, а, Сакен! Давай не будем умирать раньше смерти! Мы же еще живы. И ты проживешь еще сто лет! Ты же ни в чем не виноват, тебя никто и не тронет. Советская власть во всем разберется. – Бодрилась я и вдруг придумала поставить самовар. “Если ты чем-нибудь напуган – разожги огонь, если ты замерз – разжигай огонь опять”, – до чего же метко говорят наши казахи.

И что вы думаете? После моих слов, в особенности же после того, как я поставила самовар, все на какое-то время чуть приободрились, повеселели. Сакен одарил меня благодарным взглядом и... улыбнулся. Такого взора у него я еще не видывала. Я поняла, что он понемногу успокаивается. Это меня очень обрадовало.

Дом, в котором мы жили, находился на пересечении улиц Карла Маркса и Виноградова. В нашем дворе росли высокие дубы, тополя и карагачи. Спустя много лет по соседству были выстроены новые,



высокие, дома. Зеленые листья тех же тополей и дубов, как ни в чем не бывало, колышутся и перешептываются при легких порывах ветра и сейчас.

Сакен в сопровождении Жакия вышел из дому. Я тоже к ним присоединилась. Мы вырыли яму вблизи дома, положили в нее сверток с деньгами. Затем наш тайник был закопан и притоптан. Домой вернулись, и некоторое время не могли заговорить...

– Я не буду повторяться, Жакия, родной мой. Если будет нужда, – выкопаешь. Главное, чтобы жене и сыну хватило на жизнь. Предусмотрительность, говорят, не порок. Если же все будет спокойно – пусть эти деньги лежат себе...

В тот вечер Жакия остался у нас. На следующий день, еще до восхода солнца, он снова отправился к тайнику, чтобы хорошенько запомнить это место.

Мы старались не показывать друг другу вида, что мы страдаем. На душу давил непроходящий страх. Скрыть его не удавалось. Мы уже не помнили, когда улыбались, смеялись, шутили. Было не до шуток... Малейший шум приводил нас в трепет... Но этот страх, оказалось, испытывали не только мы. Нет. Вся Алма-Ата жила в страхе. Весь народ. От страха люди перестали разговаривать друг с другом.

...Был конец сентября. Вечером, выйдя из дома, я заметила двух неизвестных; направлявшихся к нашему дому. Я обычно мало обращала внимания на прохожих, но на этот раз сердце у меня почему-то сжалось. А те двое твердой походкой идут, никуда не сворачивая. Я вбежала в дом.

– Сакен! Горе нам, – только и успела сказать я, – какие-то два типа идут сюда...

Сердце мое готово было разорваться на части. Распахнулась дверь, и следом за мной ввалились те сурового вида субъекты с помятыми бледными лицами. Они, как стервятники, устремились к мужу и стали по обеим сторонам от него. Один из них протянул какую-то бумагу.

– Что это? – как-то безучастно спросил Сейфуллин. Затем он, потеряв самообладание, резко вскочил со стула. Говорят, что даже самые дикие лошади при виде волка забывают, что у них есть копыта, чтобы отбиваться. Так и мой Сакен, который обычно ни перед кем не склонял головы, сник, замолк, присмирел.

– Это ордер, – услышала я. Сакен отрешенно посмотрел на бумагу. До меня тоже дошло, что это такое.

– Одевайтесь и пойдем, – чуть ли не одновременно сказали оба.

– Куда? Зачем? – муж прекрасно знал, куда его поведут, и говорил просто так, механически.

– Вот когда придем, там все и узнаете. Быстро, быстро!

Они хотели увести мужа без шума, незаметно. По их рвению можно было угадать, что они гордятся доверием, оказанным им... Аянжан, который до этого пытался играть с отцом, будто

почувствовал неладное, уцепился за его шею. Его не оторвать. Я вся онемела, ноги подкашиваются.

Страх настолько велик, что даже слез и тех нет. Я ведь не знала, что у мужа на уме: может, он этим молодчикам не захочет поддаться, начнет сопротивляться... Но Сакен уже начал понемногу приходиться в себя: пятна на лице исчезли, он побелел, как полотно, в изнеможении опустился на стул. Скорее всего, он снова начал надеяться на лучшее. Он ведь ни в чем не виноват – значит, страшиться нечего. Он снова поверил в справедливость власти, которую сам устанавливал и, будь что будет, надев на себя короткое кожаное пальто с воротником из меха ондатры, прикрыв голову бобриком – круглой шапкой, отороченной таким же мехом, поднялся со стула. Эта одежда была ему к лицу. Именно таким остался он на многих фотографиях...

Сакена увели: один охранник впереди, другой сзади, муж посередине. На правом боку у каждого из опричников угадывалась кобура с наганом. И вот мой стройный, мой обаятельный Сакен в последний раз, быть может, переступал родной порог в окружении караульных, уходил в неизвестность...

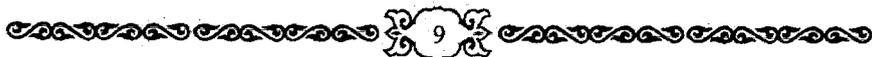
Прижимая ребенка к груди, я выбежала вслед за ними. "Сакен! Неужели ты и вправду нас покидаешь?! Крепись, родной! Даст бог, мы еще свидимся!" – вырвалось из моей разрываемой скорбью груди.

В дальнем углу двора, похожая на волка, подстерегающего ночью свою добычу, затаилась черная легковая машина. Внутри ее были еще два человека. Люди в те годы метко прозвали эти машины "черным вороном", Сейфуллин медленно, каким-то отчаянным усилием повернул голову на мой голос и исчез в крошечной пропасти "воронка".

Ноги мои подкашиваются. Некому меня ни пожалеть, ни утешить. Да и у кого просить защиты? У каждого своих тревог и забот полно. Недаром, оказывается, говорят: "Своя рубашка ближе к телу". Наш дом стали обходить стороной. У кого достанет храбрости переступить порог оказавшегося за решеткой врага народа? Утром заходил правда, его брат Мажит, бледный от страха. После этого мы его больше не видели. Это и понятно: боялся, наверное, и сам ареста. Да что тут говорить. В то время каждый трясся за свою шкуру. И тем радостнее теперь сознавать, что другой брат – Жакия – оказался другого склада. Он нас не забывал. Вот так опустел наш дом и очаг потух. День для меня стал казаться ночью, а ночь – непрерывным кошмаром...

...Издавна пошел этот обычай: в случае смерти храброго, достойного джигита с его коня срезались грива и хвост, снимали с него узду и выгоняли подальше в степь. С беркута его снимался кожаный колпачок, освобождался он от петли и через распахнутый шанырак<sup>1</sup> отпускался на волю. А жена отрезала косы и обряжалась

<sup>1</sup> Шанырак – верхний круг юрты





в знак траура во все черное. Вместе с Сакеном ушли и его тулпар, и его ширококрылый беркут. Остались только мои волосы, которыми Сакен еще в Петропавловске умилялся. Он даже говорил о них в стихотворении: "Девушке – соратнице по партии страны Советов". С тех пор прошло одиннадцать или тринадцать лет, а волосы остались такими же длинными и густыми, что даже расчесывать их было трудно. Теперь я поняла, почему в народе говорят; "У обездоленной, убитой горем девушки волосы длинные". Это хорошо видно на моем примере. Сызмальства осталась без отца. Потом долго и тяжело болела. Наконец поженились с Сакеном, родился долгожданный первенец, и теперь, когда, казалось, началась счастливая семейная жизнь, я лишаюсь мужа. Зачем мне теперь мои роскошные волосы, раз его живым вырвали из моей жизни. Я сетовала тогда на саму себя: "Почему я допустила, чтобы его увели? Почему я не плюнула палачам в их гадкие лица? Почему, наконец, не выгнала их палкою из дома?! А раз так. Значит, поделом мне... Вы, длинные косы, принесли мне лишь несчастье, а потому – будьте прокляты!" Решив так, я собрала закрывавшие плечи и спускавшиеся до самой земли волосы в отдельные пучки у затылка, начала исступленно стричь и швырять их на пол. Когда все было кончено, я бросила взгляд на пол: у ног моих лежало не прежнее мое украшение, а ядовитые черные змеи, свернувшиеся в кольца. Я став прикасаться к ним руками, с помощью щипцов для угля, я все это отправила в печь. Когда жизнь не мила, есть ли смысл плакать по волосам?

Не помню точно, сколько прошло дней, но явились люди и потребовали, чтобы я освободила квартиру. Не знаю, был ли такой закон, по которому людей, подобных мне, выселяли. Впрочем, о каких законах я говорю!

...Помнится, однажды в мой родной аул, который вытянулся вдоль реки Нуры, недалеко от Акмолинска, пришла чума. Многие юрты тогда оказались опустевшими, с закрытыми *тундуками*<sup>2</sup>. Нечто подобное, казалось мне, перекинулось теперь на Алма-Ату. Да разве на одну Алма-Ату? Везде так было. Говорили, что некоторые люди перестали узнавать своих знакомых. Возьмите газеты тех времен – вас ужас охватит. Черный мор шел по Земле. Его жертвами стали десятки видных руководителей республики. Говорят, что в центре происходило то же самое. Ум наш отказывался что-либо понимать, когда из газет мы узнавали, что творилось в Москве. Ведь оклеветанными и очерченными оказывались люди, которые были близкими соратниками Ленина.

Вскоре появился и новый хозяин квартиры. Он вел себя нахально. Во двор были выброшены мебель, посуда, утварь, одежда. Вслед за этим полетели аккуратно перевязанные еще самим Сейфуллиным связки книг, бумаг, документов. На меня никто не обращал внимания. Когда я пригляделась, то в новом жильце

---

<sup>1</sup> Тундук - квадратная кошма, покрывающая шанырак.



узнала писателя Калмакана. Во время работы Сакена редактором журнала, он часто приносил ему на просмотр и на подпись бумаги, которые отправлялись затем в типографию. А еще до этого в Оренбурге и Кзыл-Орде он работал у Сейфуллина секретарем.

...Все книги Сакена побросали в кучу посреди двора. В этой куче оказались многие редкие книги, которые собирались годами и бережно хранились, тут же оказались древние сказания и предания, песни убеленных сединами акынов, которые Сакен записывал при работе над историей казахской литературы. И вот пламя жадными языками уже пожирает наследие поэта. По мере того, как пламя становилось все сильнее, распалась и я. Потеряв контроль над собой, я стала швырять в огонь все, что только попадалось под руку. В пылающей куче оказалась одежда Сакена, посуда, домашняя утварь. Огнем были уничтожены также домбра, гриф которой был украшен красивым пучком перьев совы, изящная прогулочная палка, камча из туго сплетенных полос кожи, с ручкой из таволги. Мне стало все безразлично. Если бы не это, может, я бы так не поступила. Все бы я, конечно, не сохранила, но многие вещи Сакена все же не побросала бы в огонь. Я разрыдалась так, как может кричать только верблюдица, когда смерть уносит ее верблюжонка. Я выла от горя, рвала на себе волосы, царапала в кровь лицо. Я поняла, что совершила непоправимое...

Бухарская тубейка, так шедшая ему, и флакон духов, которые, не помню как, оказались у меня в кармане – вот все, что осталось в память. Этот горький костер еще долго бушевал, выбрасывая клубы густого черно-сизого дыма. Книги в огне погибали медленно, они как бы сопротивлялись. Неизвестно откуда налетело черное воронье и, усевшись на верхних ветках деревьев, огласило двор громким карканьем, словно чужья чью-то гибель. Мне казалось, что как только костер погаснет, вместе с последней искрой уйдет и моя жизнь.

...К нам в дом прежде из Каскелена наведывалась одна одинокая старушка. Мы ее поддерживали, как могли: дарили что-либо из одежды, поили-кормили. Я вспомнила о ней. Вот как играет нами судьба – мне теперь казалось, что ближе этой старухи у меня никого нет. А ведь так и было в самом деле...

На улице наняла возницу с арбой и тощим ишаком. Погрузили кровать, постель, кое-что из посуды и тронулись. Я намеревалась разыскать знакомую нам старушку и попросить у нее приюта. Слухи, как известно, расходятся быстро. В особенности недобрые. Оказывается, наша приятельница приболела, поэтому к нам и не приходила, но уже обо всем знала.

Что ж, вместе немного посидели, погоревали, поплакали. На душе от чужого сочувствия чуть-чуть потеплело. Наутро я вернулась в город. Сообщила Жакия обо всем. Наш родственник стал для нас чем-то вроде святого и кормильца... Набравшись духа, отправилась я к тюрьме. Подошла. Было это на улице Виноградова. Родственники арестованных через отверстие в воротах



выспрашивали что-то у охранников. Через входную, из железных решеток, дверь, видно несколько строгих часовых, поглядывающих исподлобья.

Перед дверью – толпа женщин. Через забранные в железную решетку окна доносится многоголосый шум. Раздаются крики, ругань, матерные слова, слышно, как временами кто-то визжит. Ушные перепонки, кажется, вот-вот лопнут от шума. На какой-то миг мне показалось, что я слышу надрывный крик Сакена – сердце по-собачьи, так, что душу выворачивает.

Перед воротами у двери, где выдаются пропуска, большая толпа казашек и русских женщин. Но пропуск еще не получила ни одна. Дежурный, который виден через квадратное отверстие в двери, ведет себя нагло. То и дело орет: “Проваливайте, убирайтесь отсюда!” или “В списках нет!” – и добавляет что-нибудь оскорбительное.

Удивляет то, что все стоящие перед тюремной дверью – женщины. Можно подумать, у заключенных нет ни отцов, ни братьев. Они есть, но они боятся показываться здесь. Они опасаются, что как родственники или пособники заключенных, тоже могут оказаться за решеткой. Возле тюремной двери много знакомых. Среди них есть жены бывших ответственных партийных работников. Здесь и Разия, и Абида, и Дамеш, Сауле, Мириам, Лиза, многие другие. Говорят же, что у беременных, которые, по воле случая, должны рожать в одно и то же время, заботы и печали – одни. В плотную кучу, как козье стадо под проливным дождем, сбились матери и жены, дочери и невесты. Все стали друзьями в своем несчастье. Оно нас сблизило. А ведь прежде мы, бывало, друг другу и завидовали, и сплетничали, и злословили по чьему-нибудь адресу. Сейчас же стараемся друг друга поддержать, развеять горе... И постепенно горе наше в самом деле притупляется. Мы начинаем чувствовать себя бодрее, увереннее. И уже думаем, что нужно быть решительными. Нужно начинать действовать. По природе своей мы скромны и застенчивы, но сейчас отступать некуда. Мы стали требовать у охраны, чтобы она предоставила возможность свидеться с мужьями и братьями, взять для них передачу. Среди нас оказалось несколько бойких, мужественных женщин. Им были известны некоторые законы и права. Особенно выделялась этим жена Молдагали Жолдыбаева, полячка по национальности, женщина опытная, знающая больше других. Она-то и не давала охранникам спуска. Бывают же храбрые женщины!

Похожа на нее своей решительностью была и жена Джансугурова, Фатима. Она также стала нашей предводительницей. С утра до позднего вечера мы не отходили от тюремных ворот, то и дело выкрикивая наши требования. Охранникам, видно, стало невмоготу, и они с треском захлопнули свою дверь, перестав с нами разговаривать. Из будки доносились лишь ругань и нецензурщина. Но мы на такие мелочи внимания не обращали. К двери, у которой мы стояли, то и дело подъезжали “черные вороны”. Подходя задним

ходом вплотную к двери, они то привозили, то увозили заключенных. Но рассмотреть нам никого не удавалось. Все, что мы видели, так это ноги. И женщины старались хотя бы по обуви опознать своих близких. Иногда мы все-таки узнавали кого-то, кричали, называли по имени, прощались...

Некоторые женщины отправились к вокзалу, так как пошли слухи, что к отправке готовится куда-то огромный состав красных товарных вагонов. Люди с надеждой старались заглянуть в двери вагонов.

...В очередной день у большей части из нас принимают передачи. И то слава аллаху! Правда, мы не знаем, достанется ли эта скудная еда нашим мужьям? А если достанется, то хватит ли у них силы поднести ложку ко рту? Кто знает? Но мы радуемся и тому, что передачи хотя бы принимают.

Усталая и обессиленная, возвращаюсь я в землянку к старушке, нежно прижимаю к груди своего Аяна и тут же погружаюсь в полузабытье. В помутненном сознании возникает Сакен. И чаще всего он приходит ко мне во сне с почерневшим лицом. Я пробуждаюсь в ужасе...

Человеку свойственно жить надеждой. И когда сам великий вождь и учитель Сталин заявил, что подобным "перегибам" будет положен конец, мы начинали верить, что во всем разберутся и справедливость восторжествует. Видные писатели выступили с заявлениями, что к ответственности следует привлечь всех тех, кто размахивает мечом. Однако наиболее пережившие и опытные из нас знали, что верить всему этому можно с трудом, так как товарищ Сталин уже говорил в годы голода, охватившего обширные территории страны, что "все это является результатом головокружения от успехов" и "что скот и инвентарь, отданные колхозам, будут возвращены народу". Но от этого народу тогда не стало легче, а голод продолжал свирепствовать. Кто может поручиться за то, что это не очередная хитрая уловка великого вождя? Он этим просто хочет избежать волнений и брожения среди народа. Кто его знает? Мы уже начинали догадываться, что лицемерным словам этого человека доверять нельзя.

Как бы там ни было, но я все-таки дождалась своего часа. 8 февраля 1938 года мне разрешили свидание с мужем. Не знаю даже, чем это объяснить. Может, просто случайной случайностью, а может быть тем, что следствие закончилось. Перед самой встречей с Сакеном надзиратель – казах с наглой ухмылкой – предупредил: "Во время свидания о посторонних вещах не говорить, непонятных вопросов не задавать. Справляться только о здоровье".

Из коридора я сразу попала в мрачное помещение, куда донесились отдаленный гул и крики. Передо мной сидел какой-то человек. Скорей остов человека, а не сам человек. Лицо почернело, щеки ввалились, нижняя челюсть, обтянутая бледной сухой кожей, выдавалась вперед, угасший отрешенный взгляд уперся в заплеванный пол... Это был мой Сакен. Сакен, красивый

полнокровный мужчина, во что ты превратился? Коротко остриженные волосы, несколько месяцев тому назад черные, как смоль, побелели. Нет, будь проклято такое свидание! Первое время мы, как чужие, настолько растерялись, что не знали, с чего начать разговор. Не то, что обнять его, руку подать и то нельзя было...

- Сакең, как твои дела? – произнесла я нелепый вопрос дрожащим непослушным голосом.

- А как ты? – глухо прохрипел он в ответ. - А как Жамиля, Жамад, Хабиба, Салиха? Здоровы ли? – называет Сакен какие-то имена. "Что с ним? Уж не сошел ли он с ума", – ужаснулась я. Но спустя несколько мгновений поняла, что муж называет жен или матерей своих товарищей, и отвечать мне надо про друзей Сакена. "Умница моя! Золотко мое!" – мысленно поблагодарила я его и стала отвечать тоже иносказательно про тех, кого уже взяла: "Наверное, уехала в аул", "Слыхала, что сильно болеет", "Переехала в другое место". Надзиратель, который стоял у окна, хотя и догадывался, что разговор у нас идет иносказательный, не мог сразу сообразить, о чем идет речь. Ему ничего больше не оставалось, как настороженно хлопать глазами.

- Аян жан жив-здоров? Я видел нехороший сон, – вздрогнув, бросил он на меня тревожный взгляд.

Вот по этому взгляду и легкому движению головы, так характерным для него, прежнего, я, наконец, признала своего Сакена, Сакена-богатяря.

- Да жив он, жив. Вот только сюда привести не смогла. Глазки у него не просыхают от слез. Да и детей не пускают сюда.

- Да что ты все о нас? Ты о себе расскажи...

- Дела неплохие, – ответил муж, дважды проведя сверху вниз правой рукой по правой ноге. Я сначала не поняла, что он этим хотел сказать. Может быть, он этим движением хотел сказать, что его дело закончено и что он одной ногой уже в могиле. Но об этом я догадалась уже позже. Вот таким было наше свидание после его ареста. Затем Сакена погнали из камеры, а спустя несколько мгновений выгнали и меня.

Позже я узнала, что ровно через двадцать дней, 28-го февраля 1938 года Сейфуллин был расстрелян. Мне тогда ничего о казни не сказали, я, как прежде, в течение какого-то времени носила, ему передачи. Еду то принимали, то нет. Ее перестали принимать, лишь когда травка стала пробиваться из-под земли. "Такого человека у нас нет", – ответили однажды. – "Как же нет? Он здесь был. С самой осени я сюда хожу. Куда вы его отправили? Где его мне теперь искать? – сердце будто угадало недоброе. – "Мы не знаем. В списках его нет. Отойди. Следующий", – обратился дежурный к женщине, стоящей позади меня. Сначала я подумала, что его перевели в какую-нибудь другую тюрьму, и направилась в централку. "Такого у нас нет", – последовал ответ. На вопрос о возможности отправки мужа по этапу, кроме "ничего не знаем" в

ответ не получила. Рушилась последняя надежда. Передача узелков с едой была для меня большим утешением, питала надеждой измученную душу. И вдруг я всего этого лишилась. Как жить дальше?

20 марта 1938 года в газетах появилось и официальное сообщение вместе с большим списком казненных. В нем говорилось, что фашистские наймиты, вредители, предатели родины и враги народа, такие как И. Кулымбетов, И. Курамысов, С. Ескараев, Ж. Садвакасов и целый ряд других признали свою вину, приговорены к расстрелу и приговор приведен в исполнение. Все эти люди были партийными и государственными деятелями Казахстана. Но в этом списке не было моего Сакена, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Кудайбергена Жубанова, Габбаса Токжанова и некоторых наших друзей и близких. Опять повеяло надеждой.

Но все оказалось тщетным: в разговоре с одной женщиной, с которой я познакомилась у тюремных ворот (муж ее тоже не значился в злополучном списке), я сказала: "Наверное, наши мужья все-таки живы?" — "Дай бог, чтоб твои слова оказались правдой, — обрадовалась сначала она, но потом печально покачала головой и добавила, — Гульбахрам, ты же сама понимаешь, что мы справляемся о своих мужьях, чтобы не погасить последнюю искру надежды. Но я думаю, что ее уже нет. Увы, и Сакена, и моего мужа в живых вряд ли оставили. Их, конечно же, казнили. Люди, прославившие себя, известные народу, в лагере не отправляются. Этим людей боятся. Знаешь почему? Безвинно оклеветанные, знающие себе цену люди не будут сидеть сложа руки. Они знают, как за себя постоять. Завтра же они отправят в высшие инстанции пачки писем с жалобами и заявлениями, в которых расскажут, каким мукам и издевательствам были подвергнуты и каким путем добывались их мнимые признания. А вдруг высокое начальство захочет во всем разобраться?.." В ее словах была убийственная логика...

Остановить мою знакомую было невозможно. Мы все время пугливо озирались, чтобы нас, не дай бог, никто не подслушал. Теперь я начинала понимать, почему Сакен, который не значился в списках казненных, не находился и в тюрьме. Он же не иголка, которая может затеряться в стогу сена. Как может затеряться человек, имя которого знает вся республика?

...Постепенно круг знакомых женщин, с которыми мне в течение нескольких месяцев довелось дежурить у тюремных ворот, стал заметно сужаться. Я слышала краем уха, что всех их выселили из своих квартир. Никто не знал, где они нашли себе новое прибежище. Когда возле тюрьмы нам делать стало нечего и мы перестали встречаться, я решила, что больше никого из них не увижу. Но я ошиблась.

С наступлением весны весь город вновь особо встревожился. Начались разговоры о том, что Алма-Ата будет очищена от жен и

детей врагов народа, что их всех начинают отправлять в колонии или лагеря. Они мешали начальству тем, что буквально заполонили все подступы к тюрьме. От них не было никакого спасения...

Однажды к домику нашей доброй старушки подошел милиционер. Он спросил меня. Я вышла. "Чтоб тебя в пятидневный срок здесь не было. Возле Акмолинска есть колония. Поедешь туда. Вот тебе сопроводительный лист. Когда туда прибудешь, нам сообщат. Сбежишь или не уедешь в срок, тебя будут судить", – строго отчеканил он и протянул мне для подписи бумагу. Оказывается, все, что я пережила, – только цветочки...

Делать нечего. Пришлось собираться в дорогу. Нехитрые свои пожитки оставила старушке и Жакия.

Он и достал мне билет до Акмолинска. И вот с мешком за спиной, с еще только начавшим ходить Аяном, глотая слезы, я двинулась в путь. Чтобы добраться до Акмолинска, мы должны были сделать огромный крюк через Семипалатинск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Петропавловск, Кокчетав, Боровое. В трех или четырех городах нам нужно было делать пересадку.

В поезде ребенок начал худеть и болеть. Откуда взяться здоровью у мальчика, который чуть ли не каждый день плачет и кричит, убивается по отцу. Как может чувствовать себя ребенок, который всю зиму дрожал от холода в нетопленной землянке при недостаточном питании? Что я ему могла дать в дороге? Сырое молоко, купленное на остановках, немного печенья. Не то, что чая, кипятку и того не было. Вагон переполнен, внутри грязь, дышать нечем, шум-гам, дети орут – каждый на свой лад. В вагоне много подобных мне "выселенцев". Добрались до Новосибирска. Чтобы уехать в Омск, нужно делать пересадку. В зале ожидания – невыносимый галдеж. Такое впечатление, что массы людей со всех концов света устремляются сюда и тащат на спинах, волокут по земле все свои пожитки. Теснота такая, что ступить некуда. Наверное, ад выглядит именно так. Кругом полным-полно шпаны, которая так и зыркает по сторонам. Тот, кто рискнет немного вздремнуть, сразу становится жертвой своей беспечности. Воришки хватают у зазевавшихся свертки с едой, котомки, узлы и вмиг растворяются в толпе. Не знаю, что делать: смотреть за ребенком, сторожить чемодан или пополнить толпу, напираящему на билетную кассу. Все кажется диким кошмаром, приближением конца света. Голова гудит, как церковный колокол. Хотя я и знаю, что кассы не миновать, но приблизиться к толпе не решаюсь. Некоторые пытаются силой протиснуться к кассе, но их отталкивают, тянут за рукава, оскорбляют. Завязываются потасовки. Толпа ничем не отличается от своры сцепившихся друг с другом собак. Так как я другого выхода не видела, взяв ребенка на руки, втиснулась в толпу. Оказалось, что мои опасения были не напрасными. Попав в людской круговорот, стиснутая со всех сторон, получив несколько чувствительных толчков в бок и спину, я вынуждена была отступить.

Аянжан заболел. Лекарств нет. Чем лечить, не знаю. Кроме сухарей, ничего не осталось. Пыталась ему дать размоченный в воде пряник – не берет. Что может быть горше того, когда ребенок заболевает, судя по всему, серьезно, да еще в таких условиях. Это такое мучение! Поначалу Аян плакал но постепенно, теряя силы, ослаб. Что может сделать мать в таких условиях? Остается только прижать его к груди и плакать кровавыми слезами. Сидящие со мной рядом русские женщины, тоже “выселенцы”, приносили иногда воду. Я могла попить и смочить губы мальчику. За деньги они приносили мне вареные яйца и белый хлеб. Сил уже никаких не было. А Аяну становилось все хуже. Я размышляла так: если ему суждено умереть, пусть умрет на моих руках.

Из станционных окон было видно, как набитые до отказа людьми поезда то прибывают, то отбывают. Особенно переполненными поезда отходят на юг, в сторону Ташкента. Но я-то ведь не могу, как те безбилетники, залезть на крышу и ехать. В одной руке у меня уже теряющий сознание ребенок, в другой – чемодан, на спине узел. А потом у меня нет уже никаких сил. Плакать и то уже не могу. Вот я и сижу в таком отчаянном положении и чувствую, что медленно угасаю. Не помню уже, сколько дней я провела в таком кошмаре. Но вот однажды как-то подходит ко мне русский мужчина высокого роста. До того как подойти, он несколько раз проходил мимо, приглядываясь ко мне. Я сначала подумала привычное – не соборается ли он меня обокрасть?

- Откуда вы сами? Куда едете? Вы же казашка, да? – спрашивает он. По виду на разбойника не похож, лицо добродушное, одет прилично. Говорит доброжелательно. И, тем не менее, я испугалась, насторожилась. “Наверное, за мною милиция следит”, – подумала я.

- Я из Алма-Аты. Еду в Акмолинск. И так как у меня больной ребенок на руках, я не могу закомпостировать билет, – решила я сказать ему.

- Покажите билет.

Не зная, что делать, все-таки протянула ему билет,

- Дайте мне его, – сказал он, взял билет и исчез.

“Зачем я это сделала? Теперь останусь еще и без билета. Это, наверное, один из здешних прохиндеев”, – стала я сетовать на себя. Но спустя некоторое время этот мужчина появился снова и заявил, что с билетом все в порядке и что мой поезд отходит через два-три часа.

- Отсюда не уходите. Ко времени отхода поезда я подойду и помогу вам сесть, – сказал он.

Какая неожиданная радость! А на душе все равно было беспокойно. Какой-то внутренний голос мне предательски нашептывал: “Ты думаешь, он тебя пожалел? Да он тебя где-нибудь пристукнет”. Но спустя некоторое время спаситель мой явился снова. В руках у него был газетный сверток. Когда я его развернула



– чего там только не было! Копченая рыба, пирожки, вареные яйца, колбаса, печенье... Тут я не выдержала и заплакала. Я плакала, преисполненная чувства глубокой благодарности неизвестному русскому человеку, протянувшему мне руку помощи в этот горький для меня час. Он поднял чемодан, и мы вместе вышли на перрон. На путях стоял омский поезд, готовый к отправке. Происходила посадка. Перед каждым вагоном – тьма народа. Мы не без труда разыскали нужный нам вагон. Протиснулись сквозь толпу к вагонной двери. Сначала по ступенькам с грехом пополам вскарабкалась я с Аяном на руке, затем был подан чемодан. У меня только сейчас отлегло от сердца. Пока он протискивался сквозь толпу в узком проходе, я, глядя на него, просила всех мыслимых и немыслимых святых беречь и хранить этого доброго, теперь родного для меня человека. Я надеялась когда-нибудь встретиться с ним. Надеюсь на это и сейчас. Кто сможет переубедить меня, что, мол, русские и казахи – не родня. Да никто. Не поверю этому! Добрые люди любой национальности похожи друг на друга – поэтому они родные друг другу.

Пересадки у меня были еще в Омске и Петропавловске. Тут мне было уже легче. Познакомилась с людьми, которые также, как и я, ехали в Акмолинск. Так, оказывая друг другу помощь, где словом, а где делом, мы и ехали.

Аян совершенно обессилел. Уже которые сутки в рот ничего не брал. Лицо опухло, губы заеклись и потрескались. Ресницы вздрагивают, но открыться не могут. Все сильнее прижимаю к себе его пылающее в горячке тельце, без конца целую его лобик. Горю моему нет предела. Душа надрывается... Тело ребенка обмякло, началась агония. Я закричала не своим голосом: “Чтоб ты в своей могиле перевернулся, Ежов – собачий сын!”

Соседи по купе повыскакивали со своих мест и в испуге отпрянули в сторону. Они посматривали на меня, как на умалишенную.

Милицию, однако, никто не вызвал. Только все, как можно дальше, отодвинулись от меня и притихли.

Ехавшие со мною казахи, услышав имя Сакена, стали с удивлением поглядывать на меня. Но мне было не до них. Онемевшие от тяжести руки продолжают раскачивать ребенка. Я уже не плачу. Нет. А в мыслях так и ворочается ненавистное для меня имя: “О, будь ты проклят. Будь ты трижды проклят, Ежов – сучий выродок!”

...Поезд прибыл в Кокчетав. Аян перестал дышать. Сгорбилась над ним, всхлипывая. Внутри у меня все онемело. Гнетущая пустота...

Говорят, что перед смертью все отступает. И вот некоторые из людей, которые незадолго до этого, устались меня и моих проклятий, не разрешали даже своим детям приближаться ко мне, все-таки пожалели меня. Они взяли мой чемодан и котомку, помогли

высадиться на станции.

Напрягая последние силы, прижимая труп сына к груди, побрела в сторону города. Станция от него была далеко.

Кокчетав! Мне не раз приходилось бывать в этом городе. Помнится, с какой радостью, с каким ликованием встречали нас здесь! И вот я снова, опаленная горем, с мертвым ребенком у сердца, плетусь к тебе, Кокчетав...

Знакомая татарка – старуха – жила где-то на окраине города. Ее дом я и разыскивала. Тот, кто узнал, почему фунт лиха, не ищет процветающих и благоденствующих, а ищет себе подобных – сырых и обездоленных.

Еле дотащилась до дома старушки. Открыв дверь, моя давняя знакомая с удивлением уставилась на меня. С тех пор, как мы не виделись, она сильно сдала. Исхудала, сгорбилась. Долго меня не могла признать. Наконец вспомнила и всполошилась:

- Боже мой, Гульбахрам! Ты ли это? Душенька... да на тебе же лица нет, – прошепелявила она, – кого ты так крепко прижимаешь к сердцу? Уж не ребенок ли? Как-то странно ты его держишь. Жив он у тебя?!

- Тетушка, в дом сейчас я не войду. Проведите меня на кладбище. На руках у меня сын, Аян. Он умер в поезде. Пойдемте, похороним его..

Тетушка принесла лопату, забежала за соседкой – пожилой женщиной, и вот мы втроем, крадучись, как воры, направились в сторону кладбища. Добрались не сразу. Место не близкое. С трудом разыскали немного воды, помыли Аянжана и, обернув его белым полотном, уложили в могилу. По мусульманскому обычаю, провели ладонями по лицу. Плакать я больше не могла, меня билась непрерывная дрожь. Рядом со мной, разделяя мою скорбь, тихо плакали две пожилые женщины. Горевали мы долго, пока старухи, приложив немалые силы, подняли меня, оторвали от могилы и поставили на ноги... Холмик земли, вот все, что после тебя осталось, любимый мой, незабвенный Аян..

Через несколько дней две эти добрые души проводили меня в Акмолинск. Когда подъезжали к городу, меня опять прорвало. И откуда столько слез берется?

Это был тот же самый Акмолинск, где Сакен, будучи активным членом большевистской организации, участвовал в установлении Советской власти, где он учился, а позже учил детей, где издавал первую казахскую газету. Это был тот же жестокосердный Акмолинск, из тюрьмы которого Сейфуллина в трескучий мороз белогвардейцы перегоняли в Омск.

Это только у мертвеца одна дорога – на кладбище, У меня же был выбор – либо в тюрьму, либо в колонию; вот, чтобы все это скорее закончилось, я направилась прямо в милицию. Зашла – народу битком. За барьером у дежурного работа кипит: кого-то обыскивают, кого-то уводят, а кого-то и выгоняют. Среди

задержанных – кого только нет?! Тут и воры, и грабители, и прочий сброд. Дежурный, взяв, наконец, у меня мой сопроводительный документ и прочитав его, приказал меня увести во двор. Там стояла телега, запряженная парой быков. Вскоре мы тронулись в сторону Атбасара, где на берегу Ишима находилась женская колония. Когда мы ехали по акмолинским улицам, мне, по правде говоря, даже по сторонам смотреть не хотелось: на одной из этих улиц находилась одна из лучших школ города, которой было недавно присвоено имя Сакена Сейфуллина. Ведь подумать только! Еще и года не прошло, а все провалилось в тартарары... Тяжко думать об этом... Нет... в колонию. Только в колонию. Я спешила туда, как будто ехала в отчий дом.

Пространство, обнесенное колючей проволокой, называлось зоной. Внутри находилось несколько старых бараков. На каждом углу зоны торчали вышки, на каждой стояли солдаты, вооруженные винтовкой с примкнутым штыком. Очувтившись за проволокой, я не думала, выйду ли я отсюда когда-нибудь? Мне было все равно. В колонии я обнаружила много знакомых еще по Алма-Ате женщин. Не один день мы провели вместе у тюремных ворот. Одна из них была Сақыш – жена Мухамедкали Татимова, о котором еще Сакен писал, как о героическом пулеметчике партизанского отряда, действовавшего в окрестностях Омска во время гражданской войны. Позже он занимал один из видных постов в республике. Другую звали Сақып – она была супругой Мансура Гатаулина, который работал вместе с Сейфуллиным сначала в газете, а затем в издательстве. Третью звали Куланда – она была спутницей жизни Аманбая Каспакбаева, бывшего секретаря КазЦИК.

Эти встречи скрасили первые дни заключения. У нас было много общего: мы были ровесницами, у нас была одна судьба. Пообнимались, прослезились, погоревали. Некоторые улыбались сквозь слезы: вместе все-таки легче. Моя скорбная повесть об Аяне вызвала у всех глубокое сочувствие. Каждая женщина вспомнила своих детей. Что-то с ними? Где они? И, конечно, слезы, слезы, слезы...

В лагере нас заставляли делать многое. Мы пасли овец, доили коров, пахали и засеивали поля, заготавливали сено, копали арыки. Зона, наподобие нашей, было в окрестностях много. Их называли точками. Наша, например, называлась “двадцать шестая”. Мы почти не отличались друг от друга: бледные, изможденные, стриженные наголо, с опухшими от слез воспаленными веками одинокие женщины, одетые в видавшие виды бушлаты, обутые в рваные резиновые чуни. Куда девались наши хорошие манеры, наша обходительность, воспитанность? Где наши шутки-прибаутки? Будто ничего этого никогда и не было. Обозленные на все и вся, убитые горем арестантки, лишенные еще при жизни детей, родных и близких. Большинство из нас были очень молоды.

Иногда собираемся все вместе вечерами, грустим и, когда сердца

разрываются от смертельной тоски, затягиваем свои песни-причитания. Надзирательницы орут, беснуются, топают ногами, размахивают кулаками и палками. Но мы на них внимания не обращаем. Они нам за это мстят. При выходе на работу или при возвращении, нас у лагерных ворот тщательно пересчитывают. Пища состоит из капусты, гнилой картошки и непропеченного черного хлеба. А после начала войны условия жизни стали еще более худшими. С нами не церемонились, нас не считали за людей.

Каждый день казался вечностью и не отличался один от другого. На работу гнали чуть ли не с восходом солнца. От ворот нас неизменно конвоировал здоровенный старшина, гарцующий впереди колонны метров эдак на пять-шесть на таком же, как он, здоровенном рыжем жеребце. Одет он был тоже с поразительным постоянством: летом – серая шинель, зимой – длинный овчинный тулуп. Кто-нибудь из нас невольно затягивал песню. Сколько горя, печали, тоски слышалось в ней. Я не знала прежде, что у казахов столько скорбных песен.

“Со стороны Каратауских гор идет караван”, “Сырымбет”, “Караторгай – скворец”, “Саулем-ай”, которую пел легендарный Енлик, или старая народная песня “Елим-ай – Отчий край”. Как эти песни соответствовали нашему настроению.

Так как до появления лагерей эти места представляли собой бесплодную, безводную пустыню, мы, сравнивая их с Алжиром в пустыне Сахара, как бы в насмешку, так и назвали – Алжир. Это название и закрепилось. А уже немного позже вышла известная книга Бориса Дьякова “Из пережитого”. Там появление названия “Алжир” объясняется так: “Акмолинский лагерь жен изменников родины”.

...Было бы очень долго описывать все, что пережили мы в своем адском Алжире. Да теперь об этом и написано уже предостаточно. Лучше я, заканчивая, скажу о том, что помогло мне выжить там. Во-первых, то, что в мире всегда находятся прекрасные люди. Жакия, например, оказался верным, порядочным человеком. Он значил для меня больше, чем родной брат. Он стал моим ангелом-хранителем, поддерживал и морально, и материально. Когда меня выгнали из квартиры, он однажды ночью выкопал деньги, которые мы спрятали в нашем дворе еще вместе с мужем. Деньги хранились в старом стеганом одеяле его матери. В лагере я получала посылки от имени его матери или жены. Он посещал меня не один раз в Акмолинске, благодаря этим добрым людям я и осталась жива. После моего освобождения из лагеря Жакия продолжал обо мне заботиться, наделяя продуктами и, что более важно, душевным теплом...

Время идет, зарубцовываются раны сердца и души. И помогает этому память. А она хранит не только горькое, но и все, что вставало на том пути доброго и человеческого, противостояло злу и, в конце концов, победило. И потому горькие жертвы наши не останутся бесплодными. Они взывают к нам, они требуют мысли. Пришла пора извлекать уроки...”

## Щедрое сердце Турара

**Б.Жумагалиев, директор музея,  
В.В.Куйбышева, кандидат экономических наук.**



В эти дни в Казахстане и республиках Центральной Азии широко отмечается 100-летие со дня рождения крупного государственного деятеля Турара Рыскулова. Он родился 26 декабря 1894 года в семье казахского кочевника. Рано лишившись матери, Турар рос замкнутым, горячо любил отца – байского батрака, отличного табунщика, охотника. Рыскул был сильным и мужественным, честным и благородным человеком, постоянно боролся за справедливость. В то время особой жестокостью и изощренными издевательствами над бедными людьми отличался управитель волости Сайма-сай Учкемпиров, друг семиреченского

военного губернатора. Не выдержав преследования, доведенный до отчаяния, Рыскул застрелил волостного управителя.

Расправа была беспощадной. "Весь наш род, – писал Турар Рыскулов, – был разгромлен родными волостного.. Мы (семья отца, состоявшая из женщин и детей) укрылись в доме русского казака Жирякова, который будучи вооруженным, не выдал нас родным волостного, несмотря на угрозы и требования расправы..."

Опасаясь за жизнь Турара, отец упросил начальника Верненской тюрьмы- Приходько принять сына дворовым мальчиком, в обязанности которого входили уборка помещений, чистка конюшни, топка печей. Самое главное – ему разрешали ночевать в камере отца. Здесь же, в тюрьме, Турар начал обучаться русской грамоте. Вскоре отца отправили на Сахалин в ссылку на 10 лет. К слову сказать, классик казахской литературы Мухтар Ауэзов в основу знаменитой повести "Караш-караш" взял историю Рыскула, а киргизский кинорежиссер Болат Шамшиев поставил по этой повести фильм "Выстрел на перевале", с успехом обошедший экраны многих стран.

Свою трудовую деятельность Турар Рыскулов начал в Мерке, проработав несколько лет пастухом у бая. После долгих мытарств пробивается к учению. Скрыв свое происхождение, под чужой фамилией, поступает в трехклассную русско-туземную школу, затем - в сельскохозяйственную. Успешно окончив, получает диплом садовода. В 1916 году Турар поступает в Ташкентский учительский институт, но окончить его не удалось: вступил в

действие царский указ "О реквизиции в армию на тыловые работы казахов, киргизов, таджиков, туркмен, узбеков" и вызвал массовое народно - освободительное восстание.

В ряды его участников встал и двадцатидвухлетний Турар Рыскулов, что и определило его дальнейший путь служения трудовому народу.

В конце сентября 1916 года было жестоко подавлено восстание в Аулие-Атинском уезде. Карательные отряды беспощадно истребляли непокорных, но оно сформировало Турара Рыскулова как революционера. Он не пошел по пути своего отца, бунтаря-одиночки, понимая, что народы Средней Азии своими собственными силами не смогут освободиться от национально - колониального гнета царизма без совместной с русскими трудящимися борьбы.

Рыскулов создает "Революционный Союз казахской молодежи" и устанавливает контакты с находящимися в Мерке солдатами-большевиками. В сентябре 1917 года большевиком стал Турар Рыскулов.

Революция раскрыла большие организаторские способности Турара. Особенно плодотворной и разносторонней была его деятельность в Аулие-Атинском совдепе. Сразу же после образования в 1918 году Туркестанской АССР он был назначен комиссаром здравоохранения. В тяжелые годы иностранной военной интервенции и гражданской войны он - руководитель краевого мусульманского бюро Компартии Туркестана, председатель Туркестанского ЦИКа. В это смутное время Рыскулов допускает серьезные ошибки национал - уклонистского характера, которые потом сам же признает.

К нему на помощь пришел В. В. Куйбышев, охарактеризовав, что "Турар Рыскулов - незаурядная фигура и может обработаться в Москве в недюженного коммуниста". "Помимо ума обладает большой энергией и недюжинным характером", - говорит о нем М. В. Фрунзе. Такие оценки были даны выдающимися деятелями партии и советского государства, авторитет и принципиальность которых общеизвестны. Более того, - высказаны В. И. Ленину и Центральному комитету РКП (б). 14 октября 1920 года он направляет Рыскулова на работу в Народный комиссариат по делам национальностей. Немногим более двух лет работал здесь Т. Рыскулов. По его инициативе был создан Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) в Москве. Важным направлением деятельности Турара Рыскулова являлось его участие в разработке договорных отношений между советскими республиками.

20 ноября 1922 года ЦК Компартии Туркестана, характеризуя Турара Рыскулова, писал, что он "является одним из наиболее выдающихся партийных работников, с именем, которого связана целая полоса в истории Советской власти и Коммунистической партии в Туркестане" и 28-летний Турар назначается главой правительства Туркестанской АССР.